

Дмитрий Глуховский

На свет

Через щелочку под дверью пробивается клинышек света – желтый, слабый. Его не хватает даже на то, чтобы прорисовать очертания нагроможденной в детской дряхлой мебели. Но его достаточно, чтобы мне не было боязно темноты. Я знаю: сюда, в мою комнату, этот луч доползает с кухни. А там горит настольная лампа под тряпичным абажуром и, забравшись на диван с ногами, читает книгу моя мама.

И если мне приснится что-то нехорошее, я могу встать, прошлепать босыми ногами по иссохшему старому паркету, скрипнуть дверью и, пробежав поскорей через коридор, заскочить с ходу на диван. Мама нахмурится, отчитает меня, но гнать не будет – если мне действительно привиделся кошмар, конечно, потому что она всегда умеет разгадать, притворяюсь я или говорю правду.

Было уже такое, что я никак не мог уснуть, и сидел с ней рядышком тихо, и глядел в темное окно, а она всю ночь перелистывала свою книгу, готовясь к каким-то экзаменам. Я сидел, пока не стало синеть черное одесское небо, пока не ушли с него звезды и не стало подниматься над старыми крышами большое солнце.

Только тогда меня забрал сон, а очнулся я уже за полдень.

И было лето, хорошее, настоящее лето, и море разогрелось, и под платанами было уже жарко. Я тогда выбрался из кровати – как же я попал в кровать? – позавтракал оставленными под салфеткой бутербродами с чем бог послал и двинул через парк купаться. И в тот день чуть не потонул, потому что неловко дернулся и ногу свело. Меня вытащил незнакомый бородач и все хотел отвести к маме, но я ни за что не говорил ему, как ее зовут и где я живу, потому что меньше всего на свете хотел, чтобы мама из-за меня рас-

строилась. Я от бородача сбежал и сидел еще долго, дрожа, смотрел на порт и думал, как легко, оказывается, можно умереть. Но потом одесское солнце высушило мою шкуру, и с морской водой испарились все мысли о смерти. Я подумал тогда, что все-таки, наверное, никогда не умру. Хорошо бы было еще и не взростеть; мама мне сколько раз уже говорила, что терпит эти мои ночные вылазки, только пока я маленький, и скоро надо будет с ними завязывать.

И я вернулся домой, но дверь была заперта: мама еще не вернулась, а тетка, с которой мы жили, ушла на Привоз. Про Привоз выяснилось уже потом, а когда я стоял под дверью, мне думалось, что вдруг обе они больше не вернуться никогда, и я тут останусь совсем один в этом мире. Я боялся даже подумать, как получилось, что ни матери, ни тетки дома нет. И чтобы не бояться, сам решил исчезнуть.

И пошел гулять куда глаза глядят. Был и на Ришельевской, и на Жуковского, и на Бунина, и на площади Веры Холодной, а потом мне надоело читать таблички с именами улиц и я просто шел. Думал потеряться, но к вечеру сам собой выбрел в родной переулок.

Странно, что с тем городом случилось. Есть места, которые вроде бы не поменялись, только состарились очень. Тлен тронул их, штукатурка искрошилась, и краска выцвела. Платаны, меж которых они стояли тогда, все еще тут, ждут. Деревья, вообще, если их не рубить, живут дольше иных домов, не только людей. Платаны, наверное, мне больше всего тот город и напоминают – они, по крайней мере, чуть не единственное живое, что от него осталось.

Другие дома сейчас попали в руки богачей и вроде бы процветают, холеные и лоснящиеся, как набитые чучела зверей. Все внутренности старые выскоблены, внутрь напихан негниющий пластик. Глаза стеклянные, зеркальные. Стоят, словно молодые, а мне кажется – как моложавая старуха Гурченко перед смертью. Не лица, а маски, натянутые косметическим хирургом. А где трещины-морщины, где следы прожитого?

Нет, наверное, во мне беда. Это ведь я хочу вернуться в тот город, из которого уехал когда-то. А города нет.

Стоят одни дома и деревья. А человеческая река, которая Одесу тогда заполняла, вся уж утекла. Воды ее обновились, омолади-



лись, только мне никакой радости от этого омоложения нет: для меня река эта была живой пятьдесят лет назад, а сегодня безжизненная и чужая. Нет людей, которые делали этот город для меня, нет и города.

И вот я возвращаюсь в Одессу моего детства, желая вернуться в детство. И ложусь спать в старой своей комнате, среди той же мебели, еще более подряхлевшей, и смотрю так же на клинышек желтого света, который пробивается из-под двери.

Думаю, что если мне станет совсем страшно, смогу вскочить, побежать через коридор в кухню, к лампе под абажуром и к маме, залезть к ней на диван и прижаться.

Но не вскочу и не побегу.

Потому что дом пуст, и завтра мамины похороны, на которые я приехал из Киева.

А лампу я сам зажег и оставил на кухне гореть всю ночь.

И мне страшно.

